

Высокий, грузный, с чуть выдающимся животом, он был смешон ей своей нескладностью. У него было округлое лицо, и, чтобы это не так бросалось в глаза, он отрастил жесткую рыжую бородку.

Перебегая через толчею привокзальной площади, он напевал что-то себе под нос, и, когда таксисты бойко кричали ему «Куда ехать, молодой человек?», почему-то начинал смотреть себе под ноги, на свои огромные коричневые ботинки с торчащими хлястиками. Он становился на накатанный лед огромной лужи, туда, куда другие не шли, ноги разъезжались, и, сохранив равновесие, блаженно улыбался, пока бежал к автобусной остановке.

В автобусе проталкивался назад, где было теплей, никогда не садился, а, продев запястье в петельку под поручнем, другой рукой тянулся к окну — растапливать лед ладонью. Дорогой все пригибался, чтобы рассмотреть улицы — и был так сильно похож на человека, который боится пропустить свою остановку, что пассажиры, через головы которых он наклонялся к окну, предлагали подсказать ему, когда выйти.

Впрочем, это он знал.

Перед ЦУМом он протискивался к дверям и потом, уклоняясь от входящих и выходящих пассажиров, проехав три остановки, выходил на «Свердлова» и шел через площадь, на ходу заматывая шею в колочий клетчатый шарф.

...Входил в цветочный киоск, беспомощно водил головой из стороны в сторону — к толстым стеклам очков от внезапного тепла придвигалась вплотную серая стена непрозрачности — и говорил в пустоту:

— Мне бы букетик какой-нибудь не очень дорогой, рублей за двести...

Ему предлагали что-то невнятное, вялое в бумаге, стилизованной под газету.

— А вот эти розы у вас почему? — спрашивал он, глядя куда-то мимо.

— По сто пятьдесят, — отвечали ему со сдержанным превосходством.

Он рылся в карманах сначала брюк, потом куртки и наконец, расстегивая ее, доставал откуда-то из-за пазухи истрепанный кошелек, из которого выпадали две или три монеты.

— Пять штук, пожалуйста, дайте...

И сквозь туман очков замечая, что продавщица, вынимая из воды розы, нарочно медлит, он напоказ доставал мятые сторублевки:

— У меня есть, — говорил он, как бы оправдываясь.

— Вам далеко нести? — безразлично спрашивали его.

— Наверное, нет... Не очень...

— Если далеко, я заверну вам их в целлофан, — выводила его из замешательства продавщица.

— Наверное, заверните.

Он торопливо снимал очки, внутренность киоска обретала краски, но не четкость, протирал их о низ рубашки, долго застегивал молнию куртки, промазывая одной половиной мимо другой, и, ожидая цветы, переминался с ноги на ногу перед прозрачной дверью — почему-то ему всегда было здесь неловко.

На площади, влившись в поток людей, он вдруг останавливался, торопливо втискивал шелестящий букет за пазуху и, словно проделав какую-то необходимую, необычайно важную работу, выпускал облачко пара к горошине бледного фонаря, смотрел, как оно быстро тает, разрываемое ветром...

Теперь он мог идти к ней.

II

— А ты когда-то говорил, что женишься на мне, — задумчиво начинала она, размешивая ложечкой несуществующий сахар в чае.

К запотевшему стеклу, накладываясь на отражения тесной кухни, плотно прилегала густая, глубокая темнота, неровно пересыпанная огнями.

— Я и сейчас это говорю.

— А что для этого делаешь?

Он смотрел на нее, но мимо ее взгляда, и, как и каждый раз, отмечал: какое правильное лицо. Она, словно стараясь быть еще красивее, показывая белое тонкое запястье, перебрасывала со лба на затылок русые, с рыжеватым оттенком волосы.

— Ну я же нашел работу.

Она прикрывала глаза, освобождая его от необходимости выдерживать ее взгляд, и снисходительно улыбалась:

— Ну неужели ты собираешься всю жизнь быть школьным учителем?

— Нет, не всю... но надо же как-то жить, пока я буду искать что-то более подходящее.

Она скептически кивала головой:

— А «более подходящее» — это что?

— Я пока не знаю...

Чтобы избежать дальнейшего разговора, он потянулся к чайнику на плите и подносил его к ее чашке.

— У меня полная еще.

Тогда наливал себе.

— Ну вот скажи... ты вообще думаешь о будущем?

— Конечно, думаю, — кивал головой в такт каждому из слов.

— И что, если не секрет?

Над крышами пятиэтажек, завораживая его, со стены какой-то новостройки, радужная от влаги на стекле, мерцала неоновая вывеска. На нее приятно было смотреть — тем более, что надпись была совершенно не видна и сливалась в сплошной, мигающий, теплый и бестолковый свет елочной гирлянды.

Если он смотрел туда слишком долго, в стекле, отсекая от него город, всплывало ее движущееся отражение:

— Эй! Я вообще-то здесь!

III

— Давай вместе поставим какую-нибудь цель, — предложила она с привычной снисходительностью.

— Давай, — согласился он.

Свет они погасили, на столе, рядом с блестящим отполированными боками чайником, горела толстая оранжевая свеча.

— Какую ты хочешь цель? — спросил он, нарушая ее выжидательное молчание.

— Ну, например, мы можем поехать куда-то вместе.

— Хорошо, а куда ты хочешь?

— А куда ты мне предлагаешь?

В синем мохнатом халатике с капюшоном — красивая какой-то очень правильной, выверенной красотой, здесь, в тусклой, тесной кухне старой хрущевки, она казалась ему существом какого-то другого, лучшего мира, где нет хрущевок, нет тараканов, которые шелестели где-то за газовой плитой, и его самого, в принципе, тоже не может быть — как несовершенства...

— Вот, например, Петуховы на Новый год ездили в Египет, — сказала она как бы невзначай.

— А что там? — удивился он. — Мы же все это и так видели и знаем.

— Неужели тебе не хочется увидеть все это самому?

И, пренебрегая его молчанием, она продолжала:

— Ты же хочешь начать жить ярче?

— А еще создать семью, обеспечивать ее, расширять свой круг влияния... — подсказал он.

— Да, и быть мужчиной.

— Вообще-то, я мужчина, — осторожно напомнил он.

— Я имею в виду «мужчина» не в смысле пола. И бороды. Человек может быть мужчиной и иметь женскую психологию. Или наоборот. В моем характере, например, больше мужских качеств.

— Это хорошо или плохо?

— Ни то, ни то. Просто это значит, что рядом со мной нет личности, которая была бы сильнее меня. И сняла бы с меня те мужские функции, которые я сейчас выполняю.

— Это мы сейчас ссоримся?

— Ну вот какие мужские качества, когда ты обижаешься на каждое мое слово? А я просто хочу, чтобы ты стал лучше.

IV

Он уже застегнул куртку, намучившись со сломанной молнией, и теперь вспомнил о том, что нужно обуться — тяжелая кожаная куртка сковывала движения, но не хотелось снова возиться с застежкой, и он, сидя на корточках, спешно вправлял развязанные шнурки внутрь ботинок — завяжет уже в метро. Она стояла над ним, опершись спиной о косяк двери и по-наполеоновски сложив руки.

— Ты собираешься работать над своим телом? — спросила она, терпеливо дождавшись его внимания.

— А что, с ним что-то не так?

— А тебя все в тебе устраивает?

Он как-то вбок кивнул головой и пожал плечами.

Она вздохнула:

— Как ты думаешь, у тебя мужская фигура?

— А какая, по-твоему?

— Просто у тебя плечи покатые. Ты похож — знаешь на кого? Вернее, на что?

— На что? — послушно переспросил он.

— Ты был когда-нибудь в филармонии?

— С тобой.

— Ну вот... помнишь контрабас? Только не обижайся, — она обняла его, шекоча волосами щеки, а он все пытался понять, чем пахнет капюшон ее халата. Чем-то таким домашним, немного кухней, немного старым шкафом, куда от моли клали кусочки мыла...

— Самый лучший! — крикнула уже вслед ему, в подъезд, отдавая свой голос эху.

Внутренне она чувствовала некий закон гармонии, следуя которому, нужно было уравновесить все сказанное раньше чем-то прямо противоположным.

«Как будто и «не мужчину», и «контрабас» можно как ластиком стереть — самый лучший...» — бормотал он, сбегая по темной лестнице.

Увязая в снегу, перебежал двор по диагонали, нырнул в арку, на накатанных бугорках льда остановился и надавил на свое запястье. Дешевые китайские часы мультимпликационным голосом назвали время.

Десять минут до двенадцати. На метро уже не успеть. А значит, и домой.

V

Через парк «Городское начало» он вышел к набережной, и на него сразу набросился ветер, вырвавшийся с белого, открытого пространства замерзшей Оби. На том берегу в темноте всплывали и лопались точки огней, будто пузырьки в газированном напитке. По левую сторону ровной цепочкой желтых фонарей проступал из темноты Октябрьский мост.

Как будто силясь вернуть снегопад, ветер поднимал снег с тротуара, собирал его в облачко и носился с ним, высвечивая отдельные снежинки в конусах фонарей.

Солнце поднималось над Японией, страной сакуры и роботов, зажигая зеркальные небоскребы, над гостиницами, где одинаковые постояльцы просыпались в ячейках вроде вокзальных камер хранения, над улицами, под которыми специальные люди заталкивали замешкавшихся в дверях пассажиров в вагон метро, над горой Фудзияма, снежная вершина которой невесомо парила в розовой дымке, отделенная от подножия темнотой.

— А скоро и у нас... — бормотал он себе, и, пока утро было в Японии, он стоял, приплясывая от холода, в парке «Городское начало» у заснеженных перил, под расчертившим белесое небо звеном железнодорожного моста, с двух сторон запертым. Автобусы еще не ходили. Метро открывалось в шесть. Денег на такси не было.

Снег ложился на его покатые плечи, белел в частых складках шарфа, засыпался за шиворот и там таял. На оправе очков, над бровями, тоже обозначился тонкой белой линией.

...В незнакомом дворе он остановился. Светились два окна. Снег был уже по-утреннему голубым. Сейчас зажжется еще одно окно, и можно будет идти к станции метро...

Голова была пустой и тяжелой, бессонная ночь накрыла собой все мысли, легла на них, будто глубокий и плотный снег. И теперь их существование только смутно угадывалось — как присутствие живой, еще зеленой травы под снегом. В этом было нечто такое же древнее, как и сам рассвет.

Он не оценивал то, что видит, не думал, почему горят эти два окна, кто за ними, почему дрожит от сквозняка клочок обоев на чем-то потолке, — словно смотрел не он, недавний студент, теперь человек с фигурой контрабаса, как-то незаметно проживший треть жизни, — а кто-то другой, вечный и от мудрости своей уже не говорящий себе ничего в ответ на увиденное.

В 5.45 он был на станции «Речной вокзал» и, отогреваясь, тер друг о друга огромные белые ладони. Снова запотели очки, и подсвеченные витражи декоративных иллюминаторов расплылись в размытые радужные пятна.

В вагоне он стоял напротив двери и смотрел на свое отражение, сквозь которое в черноте тоннеля извивались какие-то провода. Да, плечи покатые, — в конце концов хмыкнул он.

Веки налились тяжестью и каким-то неумолимым притяжением стремились друг к другу. Он поддался этому притяжению, провалился на миг в жидкую дремоту и грохнулся лбом в стекло. Потирая ушиб, шагнул на платформу, его обдуло сквозняком, встрепенув упавшие на лоб волосы.

Утро пересекло границу Японии, накрыло Японское море и теперь теплилось уже близко, на краю России, где-то над Читой или Улан-Удэ. А он проехал три станции метро.

VI

Гулкими пустыми коридорами он прошел к лестнице и, пыхтя, начал подниматься. Не было сил переставлять ноги. Бессонная ночь давала о себе знать.

Оставляя мокрые следы, прошел по вымытому полу к своему классу.

Где-то на нижнем этаже, повторившись объемным эхом,брякнуло передвигаемое ведро. Под потолком, покрывая штукатурку потолка фантастически вытянутыми тенями, тускло светились лампы в тяжелых спиралевидных плафонах.

Руки одеревенели от холода, ключ не попадал в замочную щель.

Вошел и, не раздеваясь, тяжело опустился на стул, взвизгнувший пружинами. Над доской, рассекая тишину на ровные доли, тикали огромные часы «Стрела». На сколько кусочков они поделили время с тех пор, как здесь оказались? И когда это было? Двадцать, тридцать лет назад?

За окнами ровной красной полосой обозначился рассвет, вычернил крыши соседних пятиэтажек и прожилки ветвей, протянувшиеся над ними, тонко прочертил иероглифы телевизионных антенн, раскалил рваные края тяжелых клубящихся облаков.

Тепло разморило его, сразу захотелось спать.

«А ведь почти час еще до урока... Звонок разбудит», — подумал он и поднялся, чтобы запереть дверь.

И вместе с ним поднялось его прозрачное отражение в стекле шкафа на другом конце класса. Близоруко сощурившись и перегнувшись через стол, он долго рассматривал его, а потом вдруг загрязяся от хохота. Полный, с плечами, резко идущими вниз, с длинной и тонкой шеей, в коричневой куртке, блестящей от растаявшего снега, он и впрямь похож был на тяжелый лакированный контрабас.

